

СИЛУЭТ



Рустам М.

Рустам М. Силуэт

<https://litres.ru/74577842>

SelfPub; 2026

Аннотация

После конца света прошло много лет. Марк живёт в подземном бункере, чинит трубы, получает талоны на еду и каждый вечер слушает дыхание больной сестры. Это единственное, ради чего он просыпается. И когда её не становится, он выходит на поверхность. Не за спасением. Не за ответами. За цветком — настоящим, живым. Сестра просила его об этом перед смертью, и это единственное, что осталось от их общего прошлого.

Он не знает, существуют ли ещё цветы. Не знает, дойдёт ли. Не знает, что найдёт там, наверху: людей, которые давно перестали быть людьми, города, превратившиеся в скелеты, или просто пепел и тишину. У него нет карты, нет припасов, нет опыта. Только упрямство и обещание, которое он не может нарушить.

Содержание

Глава 1: Пустяки	4
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Рустам М. Силуэт

Глава 1: Пустяки

Тьма в служебном тоннеле была неполной. Тусклая аварийная лампа через три метра отбрасывала на мокрые стены дрожащее жёлтое пятно. Воздух гудел. Гул был двойной: высокий — от вентиляции, и низкий, пульсирующий — откуда-то из глубины, с машинного зала, где работают аварийные генераторы.

Я вытер лицо грязным рукавом свитера. Ткань, пропитанная потом, маслом и сыростью, лишь размазала грязь. Пассатижи выскользнули из онемевших пальцев и с глухим стуком упали в лужу. Третий прорыв за неделю. Я нашарил муфту в полуметре от течи, насадил на трубу и с усилием затянул гайку. Металл противно взвизгнул, но сел. Пальцы саднило — ободрал кожу об острый край. Я сунул их в рот, сплюнул привкус ржавчины. Потом опустил руку в лужу, нашарил пассатижи. Поднял. Я не смотрел на них — я знал их на ощупь: потёртая рукоять, зазубренные губки, которые уже плохо смыкались.

Я потянулся к вентилю. Металл был холодным и шершавым. Я повернул его. Где-то в глубине тоннеля что-то

тяжко вздохнуло, и коричневая струя из прорванного локтя ослабла, превратившись в редкие, грязные капли. На время. До следующего дежурства. В этом каменном кишечнике, где я латал дыры в системе, которая медленно переваривала сама себя.

Собрал инструменты в сумку. Молоток, разводной ключ, обрывки проволоки, тряпки. Всё пахло ржавчиной и сыростью. Перед уходом я посмотрел на свою чёрную руку. Сжал в кулак. Разжал. Вытер о штаны и побрёл к выходу. За спиной осталось тихое капание в темноте.

Я шёл по коридорам. Тело работало на автомате — ноги несли, спина ныла, пальцы всё ещё помнили холод металла. Светлана сидела за столом в своей будке — там, где всегда. Её лицо в свете настольной лампы казалось жёлтым и восковым.

Я остановился у стола. Увидев меня она открыла папку, нашла мой лист, сделала отметку. Потом открыла жестяную коробку. Внутри — стопки талонов. Отсчитала два серых, положила на стол. Я сунул их в карман, развернулся и вышел.

Я сунул их в карман, развернулся и вышел, не попрощавшись.

В столовую я зашёл в самый пик. Люди стояли в очереди у раздаточного окна — кто переговаривался, кто смотрел в стену. Воздух был густым и влажным, пахло потом и прелым зерном.

Я встал в хвост. Передо мной — мужик в телогрейке, во-

ротник засаленный, на спине пятно. Он не обернулся. Сзади кто-то дышал тяжело, но я не посмотрел.

— Следующий!

Женщина в грязном фартуке взяла мой талон, не глядя, бросила в ящик. Протянула миску. Я взял её, отошёл к столу, втиснулся между стариком и парнем, который уставился в одну точку. Опустил ложку в кашу.

Тёплая. Почти горячая. Я жевал и смотрел на стену. Над раздаточным окном висели часы — без четверти шесть. Каша была безвкусной. Не солёной, не сладкой — пустой. Тёплая серая масса. Комки размокали на нёбе, и приходилось запивать водой, чтобы проглотить. Я жевал машинально — ложка за ложкой. Голова стала ватной.

Когда миска опустела, я посидел ещё немного, глядя, как люди вокруг жуют и переговариваются вполголоса. Потом встал, подошёл к окну. Женщина подняла глаза. Я полез в карман, нащупал тонкую шершавую бумагу. Вытащил серый талон, положил на стойку.

— И хлеб, если есть.

Она взяла талон, повертела в пальцах, будто проверяла, не фальшивый. Потом кивнула в сторону. Я взял вторую миску и ломтик хлеба — чёрствого, с тёмными пятнами на корочке. Пошёл к выходу.

Я отошёл от окна, но за стол не вернулся. Взял вторую миску, ломтик хлеба — тонкий, чёрствый, с тёмными пятнами на корочке — и пошёл к выходу.

Я вышел в главный зал. Когда-то здесь был склад — угля или запчастей. Теперь стены перегородили гипсокартоном, по бетону змеились трубы. Сводчатый потолок висел низко, в щелях между плитами чернела плесень. Воздух стоял неподвижный, тяжёлый. Пахло сыростью, старой шерстью и немытыми телами. Запах семидесяти человек, стиснутых в каменном мешке.

Я побрёл к своему углу — полтора метра между ржавыми стойками, отгороженных гипсокартоном. Отодвинул занавеску. Она со скрипом поехала по карнизу, с карниза посыпалась ржавая крошка. Внутри пахло иначе. Резче. Смесь лекарств, старого пота и того сладковатого запаха, который не спутаешь ни с чем. Запах долгой, медленной болезни. Этот запах и был моим углом.

Катя лежала на узкой железной койке, закутанная в несколько одеял. Ткань была тонкой, вытертой до серости, и плохо держала тепло. Сырость подземелья просачивалась сквозь любые слои.

Я поставил миску на тумбочку и залив в кружку воды, поставил рядом.

— Поешь

Она повернула голову на подушке.

— Потом, — прошептала она. Губы шевельнулись едва заметно.

В свете лампы её лицо казалось другим. Не родным. Кожа натянулась, стала полупрозрачной, обтягивая скулы и под-

бородок. Черты заострились, стали жёстче. Лишь глаза, когда она их открывала, напоминали мне ту Катю.

Я хотел настоять. Собрать весь свой тяжелый, усталый голос, чтобы звучать убедительно. Чтобы напомнить ей, что без еды не будет сил. Но не стал.

Я сел на край койки и тыльной стороной ладони прикоснулся к её лбу. Кожа горела сухим, опасным жаром.

— Опять температура?

Она пошевелилась, но не повернулась.

— Пустяки, — прошептала она. Шёпот был едва слышен над гудением.

Я протянул руку к тумбочке. Взял пустую упаковку от таблеток. Перевернул её. Лёгкая, как пустая скорлупа. В ячейках — ничего. Только вмятины на фольге, тёмные от частых прикосновений. Не говоря ни слова, я достал из внутреннего кармана жестяную коробочку. Открыл. В ней лежала одна таблетка «пустышка». Я вытряхнул её на ладонь. Маленькая, белая, ничтожная. Моя рука дрогнула, когда я протягивал её.

— На, выпей... хоть немного полегчает.

Я не верил в эти слова. Но сказать больше было нечего.

Она медленно, преодолевая сопротивление собственного тела, повернула голову. Движение было мучительно медленным.

Сначала она посмотрела на таблетку у меня на ладони. Потом её пальцы, горячие и лёгкие, коснулись моей ладони. Они не сразу взяли таблетку. Они на мгновение сомкнулись

вокруг моих пальцев, слабо, почти без силы. Уже потом они взяли таблетку, и прикосновение оборвалось. Осталось только воспоминание о нём, обжигающее и горькое.

— Спасибо, — прошептала она и запила таблетку водой из жестяной кружки.

Лицо её скривилось от вкуса — горько-металлического, знакомого до тошноты. Она слабо повернулась на бок, спиной ко мне и к тусклому свету лампы. Ей было неловко быть на виду. Неловко, что я вижу её слабость. И, может быть, неловко за моё лицо, на котором она читала всё, что я пытался скрыть.

В паузе между вдохом и выдохом я ловил себя на том, что задерживаю дыхание вместе с ней, жду следующего вдоха. Каждый раз, когда он раздавался, в груди что-то слабо сжималось. Я смотрел на её спину. Тонкая хлопковая майка обрисовала каждый позвонок. Они выпирали под тканью чёткими, острыми буграми.

И вдруг, поверх этого страшного рельефа, наложилось другое воспоминание. Не год назад, больше. Она сидела на этом же краешку кровати, запрокинув голову и смеясь. Я, рассказывая что-то из школьных уроков, пытался заплести её светлые волосы. Получалось криво, волосы путались. Она смеялась. Звонко, без этого хрипа в горле. Звук того смеха теперь казался, нереальным, будто его никогда и не было.

Она таяла на глазах. С каждым днём черты лица становились резче, прозрачней, словно её рисовали на тонкой, по-

степенно испаряющейся бумаге.

Я потянулся к шнуру и щёлкнул выключателем.

Свет погас. Тьма накрыла наш угол сразу. В ней мгновенно растворились очертания тумбочки, полки, складки одеял на её койке. Исчезла та страшная чёткость её костей под майкой. Осталась только темнота. Это было единственное укрытие. От её лица. От моих мыслей. От этой комнаты.

Лишь одна узкая полоска тусклого жёлтого света пробивалась из коридора через щель между занавеской и косяком. Она лежала на стене, дрожала от чьих-то шагов снаружи. Безмолвная, бесполезная полоса. Её было достаточно, чтобы видеть контур койки и тень моей собственной руки, лежащей на одеяле. Больше ничего. И в этом была странная, обманчивая безопасность.

Я снял куртку, пропахший металлической пылью и потом. Повесил на спинку стула — там уже висела её кофта. Потом опустился на свою койку и уткнулся лицом в подушку. Наволочка была холодной и пахла старой тканью, но через несколько секунд от дыхания в ней появилось маленькое тёплое пятно.

Лежал неподвижно, стараясь дышать тише. И слушал как доносилось её дыхание. Сознание цеплялось за этот звук, как за единственную нить в темноте. Пока он есть — она здесь.

Но для чего?

Мысль возникла сама собой. Зачем чинить эти трубы, если через них всё равно течёт? Зачем получать талоны, чтобы

есть безвкусную кашу, которая лишь отсрочивает тот день, когда станет нечего есть? Зачем слушать этот хриплый звук зная, что с каждым днём он становится тише?

Раньше ответ был. Катя. Нужно было добыть её таблетку, её паёк. Но сейчас — это выживание ради выживания. Пока либо трубы не лопнут окончательно, либо не перестанет дышать она. А потом, наверное, наступит моя очередь.

Я зажмурился, пытаюсь представить тишину. Полную, абсолютную. Без гула генераторов. Без хрипа в груди. Без скрипа моих суставов. Но даже воображаемая тишина была пугающей. В ней не было места даже для этой бесполезной боли. В ней не было места вообще ни для чего. Я снова перевернулся на спину.

Дыхание сбилось, участилось на несколько секунд, потом вернулось к своему неровному ритму. Я замер, слушая. Ждал, когда оно успокоится.

Вот оно и есть, подумал я. Весь смысл. Не в будущем, которого нет, не в прошлом, а в этом звуке. В отслеживании пауз между вдохом и выдохом. В этой тихой, отчаянной вахте в темноте. Пока я его слышу — у меня есть причина. И завтра снова встану в семь, надену вонючую куртку и пойду чинить трубы. Не ради будущего. Ради того, чтобы завтра вечером снова лежать здесь, слушать и отсчитывать эти драгоценные секунды тишины между её вдохами.

Я подтянул колени к груди, съёжившись в комок.

Перестань страдать, — думал я, глядя в темноту в её сто-

рону. Хотя бы на время. Дай и мне передышку оттого, что я вижу твои страдания.

Сколько прошло — минута или час? Я уже начал проваливаться в тягучую дремоту, но её голос внезапно прервал тишину. Слова были простыми:

— Марк... Что ты будешь делать, когда я умру?

Я замер.

Эти слова висели в воздухе, между нами, уже несколько недель. Я видел их в её взгляде, когда она думала, что я не смотрю. Слышал в долгих паузах между её вопросами о воде, о свете. Теперь они были высказаны вслух. Обрели форму и вес. От них в груди стало пусто и холодно, как будто кто-то вынул все внутренности и оставил лишь сквозняк. На этот вопрос не было ответа. Никакого. Но проигнорировать его теперь было нельзя. Он лежал, между нами, как ещё один невидимый житель нашего угла.

— ...Я хочу, чтобы ты нашёл цветок. Настоящий.

Слова были простыми. Детскими — ну а чего ещё ждать от тринадцатилетнего ребёнка? В них не было просьбы о лекарстве, которого нет. О тепле, которого не добыть. Не было даже просьбы не болеть. Она просила о цветке. Об одном. О чём-то хрупком, цветном, живом. О чём-то, что не пахнет сыростью, ржавчиной и болезнью. О кусочке того мира, который она не помнила, и видела только на потёртых страницах книги и на выцветшей фотографии. Мира, которого, возможно, уже не существовало нигде, кроме как в этих са-

мых книгах и фотографиях.

Я хотел что-то сказать. Собрать в кулак все свои «не уходи», «держись», «пустяки». Но слова застряли, превратились в комок в горле.

Её пальцы всё так же лежали в моей руке — хрупкие, беззащитные. И этот миг, висящий на волоске между сном и вечным покоем, между надеждой и отчаянием, стал самым страшным испытанием в моей жизни. Потому что, как можно уберечь от ночи того, кто сам становится её частью?

Я ждал, что она скажет что-то ещё. Хоть слово. Любой звук. Но из темноты доносилось только это тихое посвистывание — как будто где-то вдалеке, в другом конце бесконечного туннеля, медленно спускали воздух. Звук становился всё тоньше, разряжёнее. А потом исчез. Не оборвался, а именно исчез, растворился в гуле вентиляторов. Тишина не наступила — её не бывает в подземелье. Просто один знакомый звук навсегда покинул свой пост в хоре этого места.

Её дыхание остановилось.

Шелестящий звук, к которому я прислушивался каждую ночь, растворился.

Молча, с болезненной осторожностью уложив её руку на одеяло, я перевернулся на другой бок, прижавшись лбом к шершавой, ледяной поверхности стены. Влага стекала по ней тонкими, извилистыми дорожками, оставляя на моей коже ощущение слёз.

Я не стал проверять пульс. Не стал звать. Просто лежал,

прижавшись к стене, и смотрел в темноту, чувствуя, как холод бетона медленно просачивается через кожу. Вместе с ним пришло понимание. Обещание было дано. Долг — взят. Теперь в этом каменном кишечнике, кроме ржавых труб и цветных талонов, у меня появилась ещё одна работа.

Где-то наверху, сквозь метровые плиты и спрессованный столетиями грунт, доносился вой. Приглушённый, протяжный звук, будто раскачивается огромный чугунный колокол. И был он не по потерянным зеленым лугам и не по небу. Он был просто так. Потому что это всё, что осталось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.